

K-1472384

Александр РОМАНОВ



ПЕЧАЛЬ

и

ВОЛЯ



**А.А. Романов (1930 - 1999)**

**«Печаль и воля»**

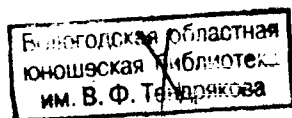
**Рассказы о Николае Рубцове**

**Вологда: 2003 - 24 с.**

*Проза русского поэта всегда притягивает к себе краткостью изложения и неординарностью мысли. У Александра Романова она к тому же еще проникнута соучастием к человеку, о котором идет рассказ. Писать о Николае Рубцове его заставила тревога, жившая в нем на острие чуткой совести. Александр Романов отдал свой долг безвременно ушедшему от нас Николаю Рубцову. Отдал щедро и горячо, как неподдельный друг неподдельному другу, как творец и как сын непоставленной на колени страны.*

**Вологда**

**2003**



## ВОИН

Александр Романов – не только истинный русский поэт, но и глубокий психолог, проникающий в душу читателя так естественно и органично, как если бы жил с ним единой жизнью и знал его с изначальной поры. Писать публицистику его побудило стремление выразить, прежде всего, и себя, и свое мятежное время. Проза Александра Романова уникальна как по своему сюжету, так и по мысли, вмещенной, как правило, в малое количество распахнутых навстречу читателю трепетных слов, каждое из которых дышит сегодняшней жизнью. Во многих очерках, зарисовках, эссе, портретах, миниатюрах поэт передает через быстро летящее время все то, что когда-то сбудется или будет. Это и есть пророчество государственного провидца, кто всегда ненавидел зло и видел победу над ним в торжествующей силе добра и таланта.

Рассказы о Николае Рубцове наполнены щемящей нежностью о дорогом ему человеке. А как мудро и увлекательно говорит Романов об Александре Яшине, Федоре Абрамове, Александре Швецове, Жанне Тутунджан, Олеге Кванине, Сереже Чухине... Сколько в нем такта, любви, сострадания и печали! Как могло все это вместиться в единое сердце?

Удивляет сегодня одно: почему так много сделавший для людей, для Вологды, для страны Александр Романов остается, если и не забытым, то не востребованным, как воин. Воин, который даже сейчас, когда его нет, но есть его дух, оставшийся в рукописях и книгах, защищает Землю свою, Поэзию и Отчизну.

Сергей БАГРОВ.

V 1472384

# ПЕЧАЛЬ И ВОЛЯ

(Встречи с Николаем Рубцовым)

## ПЕРВОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

Это случилось глубокой осенью, когда обычно возвращаемся в город из своих деревень. Видимо, в 1964 году. И первым зашел ко мне на квартиру Николай Рубцов. Он, при всех своих страстях, был на удивление скромным и стеснительным человеком. Пройдет от дверей бочком, прямогольно присядет на самый край старого дивана и на минуту-другую, морщась, как бы замкнется в молчании. Зная его такую особенность, спокойно ожидаю, что скажет. От расспросов он раздражался. Если, к примеру, заходил попросить в долг трешник или пятерку (больше не брал!), то молча подавал записку: “Прошу выручить” и т. п. Поначалу я дивился: зачем записка, если мы стоим “глаза в глаза”. Потом понял: да, легче черкнуть, чем выговорить такую окаянную просьбу.

Вот и в тот вечер, когда он зашел ко мне да присел на какой-то закраек, да приобнял ладонями свои острые коленки — весь тихое напряжение, я сразу же направился кипятить чайник и собирать закуску. Но он остановил меня и попросил послушать стихи.

Я сосредоточенно притулился над столом. И вот слышу...

Тихая моя родина!  
Ива, река, соловьи...  
Мать моя здесь похоронена  
В детские годы мои...

Захолонуло душу нежной болью, и я изумленно

оцепенел от чистоты речи, не оберменной красотами. От голой правды сиротства. От концовки, обжегшей меня, что молния.

С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую.  
Самую смертную связь.

Я, не шевелясь, ждал, что будет дальше. А дальше слышу: “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны”, “Звезда полей во мгле заледенелой”, “Русский огонек” с его единственной в мире такой самоотверженностью — “За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью...”.

Боже мой, какие стихи! Вспыхнули они вот в этом молодом, рано облысевшем человеке, и теперь, слетая с его размашистой ладони, будут вечно сиять в сумрачных далях России. Такого изумления я еще не испытывал при встречах ни с одним поэтом. И понял: Рубцов — огромный, редкий поэт!

И обрадовался я еще тому, что это открытие, слава Богу, не отозвалось во мне завистью. Лишь глубоко-глубоко под сердцем шевельнулось что-то жаркое — то ли еще не востребованная своя сила, то ли вспыхнувшая вдруг самоукоризна, то ли Божие озарение, что всякому — свой путь... И тут я высказал Николаю Рубцову свое высокое мнение о его новых стихах. Он, похоже, принял мой отзыв как должное. Сам уже знал, какую ношу может поднять.

## “ЕСЕНИН, ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ВИЙОН...”

- Как ты пишешь? - спрашиваем Рубцова.

- Сперва ставлю свою фамилию, а остальное является само собой, - отвечает он и отпивает глоток красного вина.

Мы сидим в уютном ресторанчике Вологды, называемом попросту “Поплавком”. Это зеленый двухэтажный дебаркадер, приткнувшийся не только к людной пристани, но и к литературной жизни тех лет. Мы сидим у раскрытого окна и слышим-видим, как плещется-зыблется милая река Вологда и как звонко вскипают на ней моторные лодки и катера. Мы не пьянствуем, а вдохновенно беседуем и сдвигаем стаканы в честь поэзии и в знак дружбы. О, эти наши сидения в “Поплавке”, так замечательно воспетые Николаем Рубцовым в “Вечерних стихах”.

...И, как живые, в наших разговорах  
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

И не было ничего самонадеянного, странного или дерзкого в таком приближении к своему застолью этих гениев — ведь мы тогда были молоды, как и они в свои лета. И на кого же было равняться нам, как не на них! “Вологодская кучка” поэтов и прозаиков той поры, как явление самобытное и могучее, была одержима творческим соперничеством друг с другом и поисками свежих путей в русскую литературу.

И если Есенин, так любимый вологжанами, казался нам уже близким и свойским человеком (ведь Сергей Александрович гулял-хаживал по Вологде и по деревням Кадниковского уезда, будучи в гостях у нашего талантливой поэта, своего друга Алексея Алексеевича Ганина, злодейски расстрелянного

большевиками в 1925 году) , то к именам Пушкина и Лермонтова мы прикасались со священным трепетом. Понимая недостижимость их высот, мы, однако, чувствовали, что наше матёрое мужичество, выпиравшее из стихов и повестей, сама Русь-матушка мало-помалу сближает с их отважным дворянством. Нас, выходцев из разгромленного крестьянства, пронизывало “силовое поле” их национального величия. Оттого и слово наше мужало быстрее, обретало свое лицо и достоинство.

Но как в такой русской компании оказался Вийон? Горькие мытарства этого француза отозвались сочувствием в бездомности самого Рубцова, и он запросто привел из XV века в наше застолье этого великого остроумца и гуляку...

...Вещь дорога, пока мила,  
Куплет хорош, пока поется,  
Бутыль нужна, пока цела,  
Осада до тех пор ведется,  
Покуда крепость не сдаётся.  
Теснят красотку до того,  
Пока на страсть не отзовется...

Так лихо сочинял неунывавший Вийон, а потом все же признавался: “Бедность нас преследовала по пятам”, словно бы имея в виду не только одного себя, а всех честных поэтов мира. Вот и в Рубцове задел эту сокровенную боль. Ведь многим людям Николай Михайлович казался добровольно безработным и потерянным для оседлой жизни человеком. Он, конечно, чувствовал такое отчуждение даже среди родных и близких людей. А о молчаливом осуждении якобы праздного его существования уж и говорить нечего — люди не ведают, насколько лихорадочно изнурителен труд поэта.

... Рубцов сидит, подперев подбородок кулаком, и с любопытством поглядывает то на нас, то на ресторанных посетителей. По смуглой свежести лиц, по синеглазому простодушью, по певучему говору он узнает родных тотьмичей. Они веют на него грустной памятью. Но вот возникает в растворе буфета официантка Катя, миловидная и бойкая молодуха. На крепкой ладони у нее сияет круглый, заставленный бутылками поднос. Она ветром пролетает меж столиков, останавливается перед нами и улыбается Рубцову. Она, может, единственная из женщин, знакомых с ним, чует его смятенную душу. Она ласково называет его Колей и ставит перед ним пару бутылок дешевого кадуйского (с ударением на втором слоге для лихости) вина.

И наш разговор о жизни и поэзии течет дальше. Но, кажется, пора бы завершать свою вечерю. Да и средства наши исчерпаны. И поневоле припоминается моление Франсуа Вийона, только что гостившего здесь:

Стихи мои, неситесь вскачь,  
Как если б волки гнались сзади,  
И растолкуйте, Бога ради,  
Что без гроша сижу, хоть плачь.

## СОПЕРНИЧЕСТВО

Николай Рубцов знал французских поэтов и отзывался о них высоко, но опять-таки не взалхлеб, как это случается у наших дураков и космополитов, а с той степенью восторга, за которой молча предполагаются и другие, еще более значительные высоты. В нем кипела озабоченность русской честию. И он всеми силами стремился соответствовать ей.



Я припоминаю, с какой внимательностью листал он сборники европейской поэзии. У меня накопилась целая полка таких книг. И чаще всего он листал Франсуа Вийона, Артура Рембо, Шарля Бодлера, Пьера де Ронсара.

И Борис Чулков подтверждает ревнивое знание Рубцовым европейской поэзии. Всю зиму 1964 года они прожили бок о бок в чулковском старом доме, в котором было полно книг и поэтических преданий. Да, именно Борис Александрович в то тяжкое время приютил у себя бездомного Рубцова. Можно сказать, спас его от безысходности. Владая несколькими европейскими языками, Борис Александрович, помимо собственных стихов, занимался и переводами. Надо думать, ему с Рубцовым было о чем потолковать.

Я же слышал, сейчас не припомню от кого, якобы Рубцов говаривал, что у Поля Верлена лишь одно гениальное стихотворение — “Осенняя песня”, но и оно все-таки слабее его, рубцовой “Осенней песни”. Я спросил у Чулкова, знает ли он что-нибудь о подобном отзыве. Нет, он помнит другое. Он помнит, как Рубцов рассказывал, что в Литературном институте им, студентам, было дано учебное задание перевести с подстрочника “Осеннюю песню” Верлена, но он переводить не стал, а написал свою “Осеннюю песню”.

Удивительно здесь то, что к моменту этого разговора с Рубцовым верленовская “Осенняя песня” уже была переведена Борисом Александровичем. И он прочитал ему этот свой перевод.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Стенанья, всхлипы  
Осенних скрипок  
Так однозвучны,  
Во тьме-тумане  
Мне сердце ранят  
Тоской докучной.  
Я задыхаюсь,  
В лице меняюсь,  
Часам внимая,  
А вспомяну я  
Весну былую —  
И вот — рыдаю.  
Открою двери —  
И ветер зверем  
Меня потащит,  
Во мгле и мути  
Завьет-закружит,  
Как лист пропащий.

Я спросил, как отнесся Рубцов к его переводу. Борис Александрович, по своему обычаю, долго подыскивал подходящие слова, да так и не нашел. Меня же его перевод Верлена тронул страшным одиночеством. Человек — по Верлену — настолько слаб, что не в силах управиться со стихией даже собственной судьбы. Его несет, “как лист пропащий”. Я предполагаю, что Рубцов, который слышал “печальные звуки, которых не слышит никто”, вовсе не пренебрег Полем Верленом, а лишь оттолкнулся от знаменитого француза, чтобы посоперничать с ним. И вот его ответ:

Потонула во тьме отдаленная пристань.  
По канаве помчался, эх, осенний поток!  
По дороге неслись сумасшедшие листья,  
И порой раздавался пароходный свисток.

Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!  
Пусть на город нагрянет затаившийся снег!  
На тревожной земле, в этом городе мгlistом  
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

А последние листья вдоль по улице гулкой  
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.  
На меня надвигалась темнота закоулков,  
И архангельский дождик на меня моросил.

Вглядитесь в эти две “Осенние песни”. В них по три строфы. В них одинаково бушуют листья, плачут ветры, гнетут одиночества. Но как разное светятся две поэтические судьбы в потемках стихий. И насколько несхожа житейская устойчивость их на тревожной земле.

Поль Верлен во тьме-тумане слышит стоны скрипок. Они все больше ранят его в беспутье жизни. Николай Рубцов в такой же мгле слышит отдаленную пристань. И чувство его так щемяще потому, что тревога в нем вовсе не за себя, как у Верлена, а за эту землю, тонущую в ненастье. В песне Верлена слышен он сам, но не слышно Франции, а в песне Рубцова, наоборот, более слышна Россия, нежели он сам.

Конечно, рискованно сравнивать перевод с оригинальным стихотворением и делать заключения, подобные моим, однако хочется, чтобы и читатель поразмышлял над сопоставлением этих двух замечательных поэтов разных эпох и народов.

## ЯРОСТЬ И ВОСТОРГ

Я припоминаю два случая, когда глаза Рубцова поразили меня обжигавшей энергией. Был какой-то праздник. У меня на квартире собрались друзья-товарищи из местных газет. Позвал я в гости и Николая Рубцова, тогда одиноко скитавшегося по Вологде. Кое-кому это не поглянулось: чужак. Я представил его, сказал о нем добрые слова — и началось застолье. Тосты, тары-бары, песни — молодая жизнь плеснулась через край. Но как взглянул на Рубцова, так и обомлел: в бледности вытянутого лица презрительно вспыхивали его сузившиеся глазки. Подсел к нему, чтобы раскачать, втянуть в праздник, но страшный дух неприятия чужого веселья так забушевал в нем, что в прищурах глаз заострились два черных шила. Такой злой черноты глаз я еще не видал ни у кого... Конечно, я понял, что Рубцову при его бездомности даже этот средний наш недостаток показался обидным и враждебным. Бог ему судья!..

Второй случай противоположен первому. Поехали вместе на пароходе (вернее, на теплоходе, но Рубцову больше нравилось “старое” слово). Он — в свою Николу, к дочери, а я — в Тотьму, по газетным делам. Погода стояла славная, сенокосная. Вышли на палубу — под белые облака! С берегов тянуло сладостью подсыхающих трав, земляники и вольной воли. Речные изгибы открывали все новые дали, и всякий поворот уже загодя волновал своей тайной.

Мы принесли из буфета по кружке пива, устроились за столиком, на котором были рассыпаны шахматы, но играть в окружении такой просторной наплывающей красоты не могли. Мы поминутно озирались по сторонам. И я напрямую столкнулся со взглядом Рубцова.

Черного прищура как не бывало! С переносья свеяна морщинка. В распахнутых глазах — смородиновый жар! И лицо — в небе, как в счастье!.. И я радостно замер от такого его преображения.

## СТАРЫЕ ВАЛЕНКИ

Будто откинется пелена лет и озарится один миг из далекой весны.

Снег еще не сошел, но уже всю каплет с крыш, звенит по водостокам. А Рубцов, привыкший за зиму к валенкам, все забывает сменить их на ботинки. Выйдет из дома еще по холодку, да так и бродит до мокроты. Идет по Вологде, как по своей Николе.

Встречаемся у подъезда дома, в котором наша писательская комната. Он перехватывает и мой удивленный взгляд. — “Вышел-то по заморозку, — косится на свои разбухшие валенки, — а вон как распекло”... - И щурится от солнечной капли.

В комнате нашей сумрачно и прохладно. Мы пока одни. Он мнетя, не раздевается. — “У меня бутылка красного. Может...” — глядит выжидательно. Я согласно киваю. Раздевшись, притыкается к журнальному столику. Вино он пил не жадно, а как бы ради беседы, ради вольных размышлений. В спорах бросался в разногласия. И был горяч, неуступчив...

Теперь уж не припомнить всего, о чем жарко толковали тогда. Но всякий раз — о поэзии. Николай Рубцов держался того мнения, что современность — это вечность. Не только нынешние черты быта и людских отношений, а прежде всего трагизм вообще всей жизни. В прошлом для нас — очарование, в настоящем — страдание, в будущем — искупление. Вот это и есть

предмет поэзии, а не навязчивая социология и описательство трудовой героики... В те годы об этом говорили тихо, с оглядкой, ибо везде оказывались начеку защитники социалистического реализма — этого непреложного кодекса для литературы, идеологии и вообще всей жизни.

Я, признаться, долго метался на этих путях. Еще студентом писал поэму о знаменитой тогда Александре Евгеньевне Люсковой — свинарке из шуйского колхоза “Буденовец”. Ездил к ней, мудрая и даровитая женщина принимала меня, как сына. Рассказывала, показывала, пирогами кормила, а поди-ка, не верила, что стихами возможно написать о тяжком труде свинарки. И хотя главы из моей рукописи печатались в газетах, и ТАСС (телеграфное агентство) известило страну, что в Вологде создается поэма о Герое Социалистического Труда, ничего у меня не получилось. Да, много и напрасно было растрачено в те годы сил для одоления совершенно косного материала и ложного метода. Мы топтали жизнь, инстинктивно уходившую из под наших ног, разбухшими валенками схем и догм.

Николай Рубцов счастливо миновал все это. Перешагнув политическую конъюнктуру, он сразу очутился наедине с отзвуками родных преданий, с порывистым шумом природы, с горькими путями жизни. Кое-кому из маститых поэтов тогда показалось, что Рубцов ринулся вспять, к “старой” поэзии (по языку и интонации), а на самом деле он шагнул вперед — в свежий мир лирических откровений. Поэтому и в стихах у него так много ветра и неба. И России.

## АВТОГРАФЫ

В те уже давние, а для нас молодые годы проводить литературные вечера и встречи с читателями было делом самым обыкновенным. В писательской организации денег на поездки хватало, приглашений присылалось много. И мы выступали перед тысячами земляков, соприкасались с тысячами судеб и тысячи автографов оставили людям на своих книжках.

Вот так однажды мартовской порой приехали втроем — Николай Рубцов, Сергей Чухин и я — в Харовск. Нам предстояло выступить в двух школах, в клубе местного Дома отдыха, а на афишах, расклеенных по городу, был объявлен большой литературный вечер в Доме культуры. Помнится, как молчаливо и хмуро поглядывал на эти афиши Рубцов и весело успокаивал его, поблескивая очками, добродушный Сережа Чухин. А утренний заморозок Харовска румяно бодрил нас, и шли мы туда, где должны быть, уже вдохновенно.

Николай Рубцов стихи читал прекрасно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и начнет вздывать слово за словом:

Взбегу на холм  
и упаду  
в траву,  
И древностью повеет вдруг из дола!..

Не раз слышал я из уст автора эти великие “Видения на холме”, и всегда охватывала дрожь восторга от силы слов и боль от мучений и невзгод Родины. А потом — “Меж болотных стволов красовался восток огнеликий” — и воображенье мое уносилось вместе с

журавлиным клином в щемящую синеву родного горизонта. А затем — “Я уеду из этой деревни” — и мне приходилось прикрываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили моих невольных слез. Вот какими были выступления Николая Рубцова!

Хорошо выступал и Сергей Чухин. Помахивая ритмически рукой, он стихами своими словно теплом, обвеивал людей. Если от Рубцова исходила тайна, то от Чухина — ясность русской души.

Тогда, в Харовске, после выступлений, мы, конечно, пошли в ресторанчик. Наутро в гостинице Николай Михайлович подает мне вчетверо сложенный листок. Разворачиваю, читаю:

Романов понимающе глядит.  
А мы коньяк заказываем с кофе.  
И вертится планета, и летит  
К своей неотвратимой катастрофе

С любовью Н.РУБЦОВ.

Ну что тут скажешь? Приобнял его по-братски, а Сережа похвалил, и пошли мы перед отъездом из Харовска взбодрить себя.

Шло время. Однажды заходит ко мне на квартиру Сережа Чухин и говорит, что написал стихотворение, которое хотел бы посвятить мне, но не уверен, понравится ли такое. Я постоянно следил за его крепнувшем творчеством и видел, что он вырастает в значительного русского лирика, близкого по запови к Рубцову, но само-бытного по своей ласковой печали. И этот его дружеский порыв был мне дорог.

О чем над нами шепчутся листья.  
И так согласно не по-человечьи!



О как бы я хотел перевести  
Все шорохи осенней темноты  
На человечесьё косное наречье!  
Как странен свет надмирного огня!  
Ночное дерево вдруг надо мной вздыхает.  
Не поняло ли старое меня?  
Хочу я знать, чего никто не знает.

Сереза прочитал это стихотворение и тревожно взглянул на меня. А я, растроганный и благодарный, обнял его, как когда-то Николая Рубцова.

### “И БЫЛО ВСЕ ПОЛНО ПЕЧАЛИ...”

Иду, бывало, в наше писательское пристанище, занимавшее сперва маленькую, а потом большую комнату в центре Вологды, а навстречу — Николай Рубцов. Так случалось часто, но всякий раз неожиданно. Возникнет то из липовой аллейки, то из-под речного подбережья, то из шумного многолюдья. Выступит вдруг бледный, замкнутый в себе, и как-то тревожно окликнет.

Наособицу запомнился вот этот момент. Окликнул он и заторопился навстречу мне — “Скажи свое мнение. Вот только что сложилось”. Мы нашли в скверике тихую скамейку, засыпанную облетевшими листьями. Догорала осень 1967 года. И Коля прочитал только что возникшее стихотворение.

Идет старик в простой одежде.  
Один идет издалека.  
Не греет солнышко, как прежде,  
Шумит осенняя река.  
Кружились птицы и кричали

Во мраке тучи грозовой,  
И было все полно печали  
Над этой старой головой.

Прочитал и, нахмурясь, часто-часто мигая, смотрит на меня, ждет, что скажу. А я в этот миг вспомнил стихотворение Некрасова “Влас”. И некрасовский странник заслонил во мне новорожденного рубцовского странника.

В армяке с открытым воротом,  
С обнаженной головой,  
Медленно проходит городом  
Дядя Влас — старик седой,  
На груди икона медная:  
Просит он на божий храм,—  
Весь в веригах, обувь бедная.  
На щеке глубокий шрам

Вот эта навязчивая память помешала мне взглянуть в новое стихотворение Николая. Я был немногословен. Посчитал, что сам образ странствующего старика не нов в русской поэзии. А из-за крайней простоты изображения он у Николая предстает вовсе заурядным.

Не помнит он, что было прежде,  
И не боится черных туч.  
Идет себе в простой одежде  
С душою светлою, как луч.

Такая концовка показалась мне излишне красивой, преувеличенно обобщенной. Что-то в этом духе говорил я тогда. Рубцов слушал меня тихо и грустно.

Теперь же, по прошествии четверти века, я чувствую некую укоризну, как вспомню тот резкий разбор руб-

цовского “Старика”. Образ “душа, как луч” теперь не кажется мне лишь метафорой, а ощущается уже въявь энергией жизни. Такие духовные лучи благотворны в сумраке житейского распада. Сколько ныне нищих и сирых людей бродит по Руси. Может, Рубцов еще тогда, когда мы сидели на скамейке, засыпанной багряной листвой, уже предчувствовал такое время, когда будет “все полно печали” над русской старостью? Может, он предвидел уже это через свою житейскую неустроенность?

И если каждому из нас растеплить бы свою душу до ответного луча, пусть даже до малого лучика, то отступила бы от нас стужа бездуховности и беспутья. Но души наши — потемки.

## РУБЦОВ И ВЛАСТЬ

Он был человек вольный. Нигде не служил, а работал в русской поэзии. В ту пору даже большие начальники (в простонародном представлении — самые умные люди) никак не могли понять, почему он все разгуливает по Вологде и нигде не работает. Все утром бегут на заводы и в учреждения, а он ищет, где бы опохмелиться. Меня (тогда я был ответственным секретарем Вологодской писательской организации) однажды вызвали в обком партии и недоуменно спросили: почему Рубцов бездельничает?

Я объяснил, что его жизнь - не бездельничанье, а никому не видимый тяжкий труд. Конечно, в ответ я встретил ироническую улыбку.

- Может, полечить его от вина? - сочувственно предложили в обкоме.

- Да не алкоголик он! - защищался я, думая не только

об одном Коле. - У поэтов бывают срывы. Ведь стихи пишутся кровью...

Меня выслушали, но не поверили, что столь трудно быть поэтом.

Может, и не стоило бы вспоминать эти случаи давно минувших лет. Однако истинная правда навсегда остается правдой. И не надо криво ухмыляться теперь, говоря о зависевших от партии взаимоотношениях с писателями. Я свидетельствую, что Вологодский обком партии оказывал нам большую помощь в трудоустройстве, в получении жилья и в иных немалых житейских нуждах.

Вот и о Рубцове забеспокоился. Конечно, властно забеспокоился. И вот мы, писатели, располагаемся за длинным столом в кабинете секретаря обкома по идеологии. Веселое оживление, как всегда, вносит Виктор Астафьев. Он чуть было не увлек разговор в совсем иную сторону, не предусмотренную секретарем обкома. Николай Рубцов скромно сидел у закрайка стола, поближе к дверному тамбуру. Я сделал краткий обзор творческих дел писательской организации и высказал наши неотложные просьбы. Писатели разговорились, в застолье потеплело.

И секретарь обкома, соглашаясь с нашими суждениями, помаленьку стал сворачивать разговор в сторону писательского пьянства. Василий Белов, воспользовавшись паузой в его мысли, вдруг вставил, что клин, свою реплику: "А обкомовцы пьют не меньше нас". И с веселой дерзостью поглядел на секретаря обкома.

Тот не то чтобы смешался, а все-таки смутился.

- Обкомовцы не шатаются на улицах, Василий Иванович! - вдруг подтвердел его голос.- Как некоторые из писателей...- И поглядел на Рубцова.

Вот от этого взгляда секретарю обкома следовало бы воздержаться. Рубцов сразу помрачнел и, видимо,

догадался, зачем собрана здесь писательская организация. И когда разговор с обеих сторон взвинтился уже на прямую — пить надо меньше, а работать больше, а кое-кому следовало бы и полечиться,— Рубцов резко встал, сказал “Извините” и ринулся в дверной тамбур... Он был беспартийный. Он был человек вольный... Второй случай произошел в здании горкома партии. Там, на первом этаже, располагалась тогда редакция областной молодежной газеты, в которой Коля какое-то время подрабатывал на жизнь. Здесь же была комната и Вологодской писательской организации. А в подвальной прохладе этого здания работала столовая. И в ней часто продавалось свежее пиво.

И вот однажды Рубцов с приятелями из редакции хорошо посидел за пивом и понял, что пора отсюда выбираться. Но только выступил в коридор, как тут же столкнулся с секретарем горкома партии. Он Рубцова в лицо не знал, а Рубцов в лицо его не видел. И столкнулись грудь в грудь!... Ну что, казалось бы, такого — столкнулись в столовском проходе — экая невидаль! А писательскую организацию вновь потрянуло от обвинений да объяснений.

Третий случай произошел в Архангельске. Туда съезжались прозаики, поэты, критики, литературоведы из Москвы, Ленинграда и со всего огромного Северо-Запада на первое столь расширенное совещание вдали от столицы. Туда же прибыл и весь секретариат Союза писателей России во главе с Сергеем Владимировичем Михалковым. Доклад о состоянии российской поэзии сделал Сергей Сергеевич Орлов. Кто выступал о прозе, теперь уже не вспомню. В тот день мне, как руководителю вологодской делегации, пришлось сильно понервничать.

Рано утром, до открытия совещания, вызвали к Михалкову. За многие годы секретарской работы еще не

было случая, чтобы столь срочно потребовали меня ко главе Российского Союза писателей. Какая же необходимость? Белов, Астафьев, Фокина, Рубцов, Коротаев, Полуянов, Оботуров здесь. К выступлению я готов, речь написана... В тревоге и недоумении стучу в номер и слышу: “Входите”.

Сергей Владимирович хмуро возвысился надо мной и протянул руку.

- Произошло ЧэПэ,- последнее слово от негодования повторил дважды. - Николай Рубцов нахулиганил...

- Что случилось?

- Он оскорбил женщину! Инструктора Центрального Комитета партии!

От такой неожиданности я смешался.

- Странно, - начал я защищать товарища, - к женщинам он добродушен. Это недоразумение, Сергей Владимирович. Не может быть...

Михалков прервал меня: - Рубцов оскорбил женщину! Он шатался пьяный в коридоре, она подошла и упрекнула, а он...- тут приступ нервного заикания охватил Сергея Владимировича, - а Рубцов послал ее, уважаемую женщину, работника ЦК...— снова замялся и, округлив глаза, еле выговорил в раздраженном недоумении:

- Рубцов послал ее ... на х..!

Тут и у меня выкатились глаза на лоб.

- Да как же так? - опомнился я. - Может, оговорили его, Сергей Владимирович?

Михалков метнул суровый взгляд: - Если Рубцов сейчас же не извинится, мы лишим его делегатских полномочий!

Крыть было нечем. И я пошел в номер, где на смятой кровати понуро сидел Рубцов. Бледный и больной. Стало жаль его. Соседи по номеру уже, поди-ко, толкуются в буфете, а он мрачно напоминает, что было с

ним вчера. Такая беспощадная самоказнь давно ведома мне. Состояние ужасное. И Коля обрадовался, увидев меня. Но я-то пришел к нему не с облегчением, не с радости, а со строгим приказом С. В. Михалкова. И кратко рассказал о только что состоявшейся встрече.

- Да я ведь, - растерянно и наивно развел руками Коля, - не знал, что она из ЦК. Я к ней и не подходил, это она меня задержала. Начала стыдить, укорять... Эх! - схватился он за голову. - Ну, выпил... С радости выпил. Я ведь Архангельск люблю. Давно в нем не был...

- Коля, Михалков велел тебе извиниться перед ней, - назвал я имя и отчество этой руководящей женщины. - Иначе лишат тебя командировочных денег, не пустят на совещание... Перебори себя, извинись...

Рубцов долго и хмуро молчал, глядя в архангельское окно. Потом встал, умылся и пошел извиняться. Он был вольным человеком в Поэзии и подневольным — в нищете.

## РЫЖЕЕ ПЛАМЯ

Людмила Дербина попросила обсудить на писательском собрании ее книгу стихов "Сиверко", вышедшую в 1969 году в Воронеже. Там она жила и работала до переезда в Вологду. И вот наша большая комната полнится народом. Мне с председательского места всех хорошо видно. Белов хмурится на диване. Астафьев весело озирается, Коротаев толкует с Чухиным, Фокина присаживается к ним сбоку. Сдвигают стулья Чулков, Полуянов, Гура. А Рубцов, как обычно, в углу за журнальным столиком. В центре внимания — Людмила Дербина. Многие видят ее впервые. Что-то уже слышали о ней и вот любопытствуют, поглядывают.

Она свободно сидит перед всеми. Молодая, смуглолицая, в рыжем пламени взвившихся по плечам волос. Короткое платье высоко вздернуто над ядрами колен. Вся — как вызов. Сжав в пальцах свое “Сиверко”, вскидывает перед собой, и нам видно, как обложка книги белеет и синееет будто бы проступающей изморосью. А голос! Сперва — что сусло, а затем — что кипяток.

...Когда-нибудь в пылу азарта  
Взовьюсь я ведьмой из трубы  
И перепутаю все карты  
Твоей блистательной судьбы!  
Вся боль твоя в тебе заплачет,  
Когда рискнешь как бы врасплох  
Взглянуть в глаза мои кошачьи —  
Зеленые, как вешний мох...

Все понимают, что это — умелые стихи, но смущает безудержность их дьявольской страсти. Дербина читает еще и еще, накаляя собрание.

К сожалению, мы не вели записи выступивших. Это обычная наша безоглядность и непредусмотрительность. Начинать пришлось мне. Я сказал, что поэзия — вовсе не крик ревнивого испуга.

...Чужой бы бабе я всю глотку переела  
За то, что ласково ты на нее взглянул.

Отметил я в ее стихах и есенинские интонации:

Что ж? В любви, как в неистовой драке,  
Я свою проверила стать.  
И теперь, чем до одури плакать,  
Предпочту до упаду плясать...



Коротаев говорил резче меня. Что-то о “медвежьем рычании” в ее стихах.

...Опять я губы в кровь кусаю,  
И, как медведица, рычу.

Астафьев отстаивал полную волю в стихах, не обремененную лжезаконами соцреализма. А Белов и Фокина свое неприятие такой лирики выразили суровым молчанием.

Всего интереснее было узнать мнение Рубцова. Он резко выступил против физиологизмов в поэзии Дербиной. И привел пример:

Я по-животному утробно  
Тоскую глухо по тебе...

На писательском собрании в том далеком 1970 году было решено новую рукопись Людмилы Дербиной все-таки рекомендовать после доработки Северо-Западному книжному издательству.

Но не суждено было этой второй книге выйти в свет. Убийство Дербиной Николая Рубцова потрясло не только Вологду, но и Россию.

## ДВА ПОРТРЕТА

Изо дня в день на всех нас смотрит Николай Рубцов в комнате вологодской писательской организации. Здесь он в одном ряду с Константином Батюшковым, Павлом Засодимским, Николаем Клюевым, Александром Яшиным и Сергеем Орловым. Эта портретная галерея — замечательная редкость русской графики. Сделал ее

Юрий Воронов, щедрый талантом и бескорыстием художник. Дивно то, что он, по молодости не заставший Рубцова, так хорошо изобразил поэта, словно бывал его закадычным приятелем. Я спросил, как он сумел угадать единственно верное выражение его лица, какое не всегда запечатлевает даже фотография? — “А все светотени лица увидел я в рубцовой поэзии”, — ответил Юрий Воронов. Да, он уловил тот самый поворот головы, тот самый прищур глаз, такой нахмур мысли, что поэт из ночной тьмы Вологды вновь предстал живым и близким перед нами. Рубцов возник из верно угаданного мига, из озаренности своего творчества, из сиянья великого Софийского собора...

Изо дня в день смотрит Николай Рубцов и в моем домашнем кабинете. Смотрит из угла, где стоит письменный стол, следит, чем я занимаюсь. Его взгляд порой смущает, я даже забываю, что это взгляд с портрета, написанного Владиславом Сергеевым. Настолько он глубок и участлив, что, бывает, не выдержу такой зоркости и склонюсь поскорей над бумагами, будто забуду о нем. И если пишется, то и рубцовский взгляд летит поверх меня, а если не ладится — вскину голову и наткнусь на его страдальческий укор ...

Таинственен штрих обыкновенного карандаша! У чудодея Владислава Сергеева он расталкивает мглу забвения и заново оживляет родные нам лица и виды природы, и образы милой родины. Вот и в рубцовском портрете, подаренном мне, художник настолько провидчески обнажает свои графические линии, что они как бы совпадают с линиями самой судьбы Николая Михайловича Рубцова. А загадочностью своего штриха, похожего на зыбкий туманец, мастер выявляет то грустную улыбку поэта, то его прощальный поклон, то намек на неизвестную нами и никогда уже непостижимую до конца тайну его жизни и смерти.



**Александр РОМАНОВ (слева) и Николай РУБЦОВ**

**Редактор Сергей Петрович БАГРОВ**

**Тираж 100 экземпляров**